

Мой дед, Яков Селиверстович, был родом из полтавских разночинцев. В 1915 году он попал на Балтийский флот, где вскоре научился вязать выбленочный узел и сделался старшиной шкиперской команды. Революционный шторм застал деда на палубе эскадренного миноносца «Меркурий». Центробежная сила отрывала людей с насиженных мест и уносила в небытие. Нужно было делать выбор: с кем ты? С революцией, которую не понимаешь и боишься? Или с господами офицерами, перед которыми заискиваешь и которых тайно ненавидишь? Практическая смётка подсказала, где искать собственную выгоду. Дед шагнул в революцию, как бросился за борт.

Пока Яков осваивает морские узлы, в Орловской губернии подрастает моя бабушка Катя. Она читает повести Боборыкина и рассказы Чехова, находя последнего душкой. Её папаша управляет Мещерековским имением, а матушка, немка Эльза Карловна, даёт уроки музыки хозяйским дочерям.

Юная Катенька ещё не ведаёт, что через несколько лет отправится в южный город Севастополь, где встретит усатого матросика с цепким взглядом. Да, это будет мой дед. Его перебросят с Балтики в Севастополь для прививки революционного зуда личному составу Черноморского флота. Там они и сойдутся, Яков и Екатерина, на углу Большой Морской и Соборного спуска, как раз напротив Покровского собора.

Я лихо проношусь на тридцать пять лет вперёд, изымая из прошлого половину человеческой жизни. На улице 1952 год. Мне уже семь лет. Я участник истории. И что же я вижу?

Моя бабушка Катя была запойной пьяницей. Стоило ей опрокинуть рюмочку на Пасху, как тут же открывался запретный клапан, и всепоглощающая страсть к вину превращала бабушку в кабацкую теребень. Спустя несколько дней, чарующая полнота

улетучивалась, кожа становилась дряблой, а лицо наливалось коричневым отёком. Голубые бабушкины глаза закисали мутью, а невидящий взгляд не мог обмануть никого – перед вами хроник. Дед запирал калитку и начинал лупцевать бабушку. Синяки на коричневом лице были почти незаметны.

Наступал день, когда бабушка исчезала из дома. Она забиралась по стволу уксусного дерева на черепичную крышу сарая, карабкалась по отвесной стене, цепляясь за косички чабреца, и оказывалась на ярусе верхней улицы. Бывало, дед запирал ворота, забивал гвоздями оконные рамы, обматывал деревья колючей проволокой. Но бабушка всё равно исчезала. Наверное, она вылетала в трубу летней кухни.

В наш дом неслись горячие сводки. Бабушку видели в шашлычной за Бунькиной рощей – моряки с крейсера «Молотов» угощали её пивом с водкой. Дед бросался в запеленгованное место, но оказывалось, что моряков забрал флотский патруль, а бабушка испарилась. Несколько человек видели её на «хитром» базаре, где она помогала пиндосу Мишке продавать кефаль. Другие уверяли, что в 14-00 бабушка просила милостыню на перроне железнодорожного вокзала.

В конце концов, мы находили её на Корабельной стороне, в бурьяне, за южной проходной Морзавода. Она дышала, но жизни в ней практически не было. Дед привозил бабушку домой и купал в цинковой лоханке. Пока бабушка отмокала, дед сжигал зловонные тряпки. Потом надевал на бабушку ночную рубашку, хрустящую от крахмала, и укладывал измождённое тельце на перину.

Дед отпаивал бабушку куриными бульонами. Но стоило ей один раз самостоятельно выйти в уборную, как он тотчас приковывал бабушку цепью к кровати. И начинал поколачивать. Сначала осторожно, но по мере того, как бабушка набирала вес, дед бил её всё жёстче и обстоятельней. Он приходил в её спальню, садился на венский стульчик и искал раскаяние в бабушкиных глазах. Потом снимал со стены кнут и задирали ночную рубашку. Кричать ей запрещалось, и бабушка научилась душить свои вопли в подушке. После экзекуции дед смазывал рубцы йодом и укрывал бабушку зелёной попонкой.

Моя насквозь христианская бабушка записала в свою тетрадь для кулинарных рецептов сунну пророка Мухаммеда: «Не станет Аллах возлагать на душу ничего, кроме посильного для неё. Ей – то, что она приобретёт, и против неё то, что она приобретёт».

Иногда, в период кнутотерапии, бабушке удавалось отворить цепной замок. Тогда вместе с ней исчезали комплекты постельного белья, посуда и чугунные статуэтки собак – гордость дедовской коллекции.

После вторичных побегов бабушки дед садился в плетёное кресло и проводил в нём целые дни, сжимая пальцами колени. Возможно, он думал о том времени, про которое я хотел умолчать, не будучи непосредственным его наблюдателем. Но теперь вижу, придётся очертить его лёгким контуром.

После демобилизации деда назначили на работу в советский банк. Он был чем-то вроде комиссара при коммерческом директоре. Большевистская убежденность, скроенная на скорую руку, расползётся по швам, едва забрезжит возможность пожировать у государственного корыта. Попробовал – получилось. И понеслось! Дружеские попойки, надушенные конторские дамы, цветы, шампанское, весёлые шлюхи в ресторане «Приморский», казённая «эмка», «большая» любовь на стороне. Вот оно, небо в алмазах – ночь, шуршание накрахмаленных простыней, дорогая сигара.

Деда разбудили в чужой кровати и под белы руки отконвоировали в ОГПУ. Ему повезло. Случись это двумя годами позже, стоять ему у стенки за растрату в особо крупных размерах. Но время большого террора ещё не пришло.

Дед легко откупился от тюрьмы. Впрочем, особенно удивляться не приходится, потому что взятку из рук в руки принимал его вчерашний собутыльник. Когда деда выгнали из банка на железную дорогу, он обозлился на всех и отвернулся от мира. А зло вымещал на бабушке.

В начале 50-х годов в нашем доме постоянно слонялись люди – друзья, знакомые, коллеги отца. Они курили, смеялись и спаивали бабушку. Я мог часами толкаться среди них, слушая истории, которые выбалтывались под пьяную лавочку.

Отец не рассказывал про войну, он не любил оборачиваться назад. Но я знал, что он герой. Я как будто собственными глазами вижу: вот он в шлеме, в очках в кабине своего истребителя ЛА-5. Как чёрт, выскакивает из низкой облачности, ловит в перекрестье прицела «мессер» и жмёт на гашетку. Вот они в офицерской столовой отмечают победу – второй сбитый отцом самолет. А вот проигранный бой. «Ведомый» отсечён и завязал сражение на низких высотах. Отец уходит в поворот, но вдруг обшивка обтекателя разлетается в лохмотья, разрушает фонарь кабины, и пламя охватывает самолет. Земля поднимается стеной, летит

навстречу. Горящий истребитель удаётся выровнять элеронами и горизонтальными рулями высоты. Но загоревшийся комбинезон успевает оплавить грудь и шею. К счастью, болевой шок выключит сознание позже, когда отец перевалится через край кабины и рванёт кольцо парашюта. Заснеженное поле выстудит обожжённую грудь, и палочка Коха поразит отца так глубоко, что вскоре чахотка примет открытую форму.

Из госпиталя отец вернётся в Севастополь 44-го года, ещё не остывший после освобождения. И вскоре получит неожиданное назначение – он станет вторым человеком в системе строительства города. Престижнее работы в тот период не существовало. Ресурсы и деньги лились рекой. Отец стал чем-то вроде партийно-административного распорядителя. При этом он даже не подозревал о существовании такой науки, как сопромат. Но партийный билет, полученный в лётной школе, и два ордена Красной Звезды явились достаточным основанием для назначения на должность.

Отец возвращался поздно. Он приезжал на открытом «виллисе». Худой, высоченный, с седыми волнистыми волосами. Небрежно хлопал дверью. Щёлкал зажигалкой. Американское пальто из жёлтой кожи, канадские ботинки на каучуковой подошве, трюфенная рубашка с «хитрого» рынка и галстук – он был неотразим!

Однажды весной к нам постучали. Я прошёл через двор и открыл калитку. Передо мной стояла Дженни! Да, та самая Дженни из кинофильма «Тарзан».

– Мальчик, вы сдаёте комнату? – спросила она на чисто русском языке, и я быстро затряс головой – сдаём, сдаём!

Дженни звали Надей Максимовой. Её муж работал военным атташе в городе Лондоне. Зимой их отозвали в Москву, и вскоре произошло ужасное недоразумение: подполковника Максимова арестовали по ложному обвинению. И он, бедный, умер во время следствия, не успев доказать свою невиновность. Она страдала. Теперь это в прошлом. Ей двадцать четыре года, она самостоятельная женщина. Надо жить, строить светлое социалистическое общество. Если хозяева не очень напуганы фактами её биографии, она хотела бы снять недорогую комнату с отдельным входом. Она имеет направление для работы в железнодорожной школе, будет преподавать иностранный язык.

– Мы согласны, – сказал я. Дед взял меня за бретельку майки и вышвырнул за порог.

С этого дня Надя Максимова поселилась у нас.

С её появлением в дом зачистили те, кто раньше обходил его стороной. Напористее других был Василий Михеев. Он копировал пение щеглов. От его свиста настоящие птицы умолкали, смущённые собственным вокальным несовершенством. Михеев каждый вечер являлся в наш дом и играл с дедом в карты. Они сидели во дворе за столом. Василий то и дело поглядывал на окна Надиной комнаты, надеясь за белыми занавесками поймать её силуэт. Иногда Надя выходила с английской книжкой в руке. И тогда Михеев заливался щегольим пением. Ему хотелось понравиться. Однако Надя не понимала, для чего нужно свистеть, перебивая настоящих птиц. Она не разделяла моих восторгов по поводу Михеевского таланта. Это меня огорчало, потому что Надю я полюбил всем сердцем.

Представьте: июль, Крым, полдень. Неподвижный воздух, как расплавленное стекло. Знакомые силуэты, слегка деформированные, чуть вздрагивают, и, кажется, вот-вот оторвутся от матери Земли и уплывут вверх, в бесконечную синеву неба. В час вертикального солнца всё живое прячется в домах, под кронами акаций, в складках виноградных листьев. Тихо, тихо. Вдруг застрекочет кузнечик в сухих колосках, и вам покажется, что его стрёкот расколется половину неба. Трещина побежит до самой бухты через здание панорамы на Историческом бульваре и через городской холодильник, на фасаде которого висит портрет Сталина размером 15x20 метров.

Мы с Надей, разомлевшие от жары, валяемся на кровати в тени виноградной палатки. В руках у Нади английская книга, она переводит мне историю покорения Северного полюса.

– Я хочу оказаться на их месте, – говорит Надя и откидывается на железную спинку кровати. Книга соскальзывает с её коленей. Надя поднимает руку, ловит пальцами никелированный шарик, украшающий спинку, томно потягивается. За краем блузки я вижу её небольшую грудь и розовый сосок. Мне становится ещё жарче, я тру глаза кулаком, не забывая подглядывать в разрез блузки. Мне требуется срочная прогулка. Я иду мимо деревянной бочки под водосточной трубой. Бочка до краёв наполнена вчерашним дождем. По зеркалу зелёной воды снуют водомеры, как будто чертят ломаные прямые. Я иду, полузакрыв глаза. От скалы в глубине двора, где вырублен погреб, пахнет мокрицами. Листья уксусных деревьев струят ядовитую горечь. Из сарая тянет угольной пылью. Летняя кухня наполнена ароматом жареной камбалы и кипящего белья, которое булькает в пузатой выварке. Запахи моего детства.

– Ты холодненький, – говорит Надя. – Положи мне голову на плечо.

Я касаюсь щекой её плеча, вкусного, как дыня. Бесовский запах её пота ударяет мне в голову.

– Я умру от этой жары, – шепчет Надя.

– Кто вам позволит? – на пороге стоит отец в белой рубашке, с папиросой во рту. Он подхватывает гитару, садится к нам на кровать.

А в дом до тёти Розы залетело горе.

Отец поёт дурашливым, но приятным голосом:

*Её дочурку Надю, пока она спала,
Вчера как раз похитил и уволок на море
Один вооружённый, ох, фраер из Чека.*

Он поворачивается к Наде, смотрит на неё в упор своими голубыми пронзительными глазами.

*Ах, Надя, Надя, Надя, уже проходит лето.
Тебе сейчас неполных четырнадцать годков,
Но ты меня полюбишь под дулом пистолета,
И мы сыграем свадьбу до первых холодов.*

В отце помещалось множество никчёмных талантов, похожих на сор. Но эти соринки выпархивали из него, как прекрасный ёлочный серпантин.

– Поехали! – говорит отец, и мы послушно садимся в его «виллис» и мчимся через балки и холмы. Полуденной жары и вялой истомы как не бывало. Горячий воздух хлещет меня по лицу. Столбы электрической линии летят навстречу. Мы давим колесами нежный ковыль и степные ракушки. За «виллисом» клубится пыль. Машина ныряет в Делегардову балку, и сердце моё обрывается, когда она прыгает со скалы на скалу, и колёса едва находят опору. Надя вцепилась в отцовское плечо, я – в Надино. Мы визжим и обмираем. Отец сидит прямой, как тополь. В зубах его папироса.

На казённой начальственной даче квакают лягушки. Мы с Надей плещемся в бассейне, куда ива роняет свои листья.

– Александр Яковлевич! – кричит Надя и машет отцу рукой. – Идите к нам.

Отец делает жест: обойдётся. Надя обижается. Я хочу ей объяснить, что отцу сделали поддувание лёгких и ему нельзя в прохладную воду, но говорю, что он боится лягушек. Надя смеётся, отец прощён.

Однажды я вошёл в комнату Нади без стука, хотя она постоянно учила меня хорошим манерам. Возле окна стоял Василий Михеев и держал Надю за руку.

– Ты пойми, он прогнил насквозь. Ему жить осталось – во! – Михеев отмерил одну фалангу на мизинце. – Он ещё и тебя заразит. А я здоров, как бык-производитель. Соглашайся! Заживём, детей нарожаем. У меня добра – полный дом.

– Отпустите, больно, – поморщилась Надя.

– Дура, – прошипел Михеев, – ты для него пустое место!

– Пошёл вон. Жаба!

– Что? – удивился Михеев. – Ну, подожди, я тебе такое устрою, фифа!

Он бросился из комнаты и даже не заметил меня, потому что от гнева его глаза застилали два бельма.

День Военно-морского флота – самый значительный праздник в Севастополе. Люди идут на Приморский бульвар. И пока не началось представление на воде, все танцуют. Флейта флотского оркестра выводит такое чудесное верхнее «фа», что Надя не в силах устоять на месте. Она отталкивается от земли и кружится, кружится! Платье «солнце-клёш» летит по воздуху невидимое, как пропеллер. Я бегаю и размахиваю руками, мне безумно весело. Толпы людей растекаются волнами и смешиваются в пучину. Вальс закончился, последняя нота растаяла в воздухе. Надины руки обнимают плечи отца.

Неожиданно в толпе мелькают другие глаза, и жёсткий взгляд колет в самое сердце – Михеев! С этой минуты я становлюсь подобен рыбе, которая проглотила крючок, но ещё не чувствует натянутой лески.

Он пришёл возбужденный. Лицо гадко отражало всё, что он сейчас станет говорить. Удивляюсь, как у деда хватило выдержки спросить:

– Перекинемся в картишки, Вася?

– Вчера мои хлопцы работали во вторую смену, – начал Михеев, – а когда вышли за проходную холодильника, увидели Сашку, сына твоего. Он уже был «под мухой», но в полном разуме. И вот подходит Сашка к портрету товарища Сталина и

давай мочиться на него. А нижняя кромка портрета, ты знаешь, расположена в аккурат у самой земли, так Сашка норовил вождю на грудь попасть, на самую звезду Героя.

– Врёшь, – дед ещё сопротивлялся, – орден высоко, никак не достать.

– Высоко, – согласился Михеев, – но он туда целился.

Они долго и тяжело помолчали. Потом Михеев вытащил листок:

– Вот заявление и пять разборчивых. Свидетели – мои сослуживцы.

– Чего ты хочешь, Вася? – устало спросил дед.

Ничего особенного он не хотел. Пусть, дескать, дядя Яша сдаст Надьку. Паскуда она. Жена врага и сама английская шпионка. Напрасно дядя Яша её приютил, ох, напрасно.

– Сам-то чего не сдашь?

– Мараться неохота. А ты, дядя Яша, пиши на неё докладную. Или сыночка не пожалеешь за эту тварь? – Михеев истончил губы и запел щеглом. Затем добавил. – Не-а, ты пожалеешь. Ты же не Тарас Бульба.

Дед кладёт передо мной лист бумаги, исписанный его каллиграфическим почерком.

«Товарищ Прокурор. Я пишу докладную записку от беспкойства за сына. Он у меня коммунист и большой начальник по строительству города. Дело в том, что с апреля месяца в моём доме квартирует гражданка Надежда Максимова. Её муж был арестован, как враг народа. Он умер в Москве, во время следствия. Я утратил бдительность и пустил гражданку Максимову, а теперь прозрел. Мне кажется, что она неспроста сунулась к нам. Пытается войти в доверие к сыну, использует свою красоту, как приманку. Мой внук, моя жена и я можем подтвердить, что она подробно расспрашивает сына про его работу, интересуется, где и какие объекты строятся в нашем городе. Мы были свидетелями, как она с интересом рассматривала карту шестнадцатого квартала застройки города. У неё в комнате хранится фотоаппарат и книжки на зарубежном языке. Прошу проверить наш сигнал. Если мы ошибаемся, то будем только рады за хорошего человека».

Боже мой! Я знал про такие случаи. Не зря в бакалейном магазине висит плакат «Не болтай! Враг подслушивает». Недавно в военной части отравили колодец. Все бойцы попали в лазарет. Хотят ослабить нашу военную мощь. Им нужно, чтобы советский солдат не стоял на часах с ружьём, а дристал в ди-

зентерийной палате. А ещё был случай: в детском саду вместо сахара положили в манную кашу мышьяк. У них сердце наполнено ядом. А как маскируются! Добрые, красивые, книжки английские переводят.

– Это правда? – я схватил деда за палец. – Скажи мне, это правда?!

Дед вздохнул:

– Да ты не психуй. Там разберутся. Проверят.

– А когда проверят?

– Скоро. Подписывай и никому ни слова.

Потом мы зашли к бабушке, которая в это время лежала прикованная цепью к кровати. Дед протянул ей бумагу. Бабушка надела очки и стала читать.

– Подписывай, – сказал дед, не глядя на неё.

– Не буду.

– Выйди, – приказал мне дед и снял кнут со стены.

Надю забрали в начале сентября, прямо с урока английского языка. В её комнате произвели обыск, забрали английские книги и фотографии, но вещи оставили.

Отец вошёл в Надину комнату и долго стоял неподвижно, как будто хотел услышать её дыхание. Потом открыл шифоньер. Среди прочих вещей там висело крепдешинное платье «солнце-клёш». Отец бережно обнял платье ладонями и припал к нему лицом.

Спустя две недели отец продал «студебеккер» дюймовых труб за бутылку водки. Зачем он выкинул этот фортель? Воровал ли раньше или был кристально чист, по-партийному принципиален? Не знаю. Судя по тому, с какой теплотой о нём отзывались люди, – воровал. У нас принципиальных и честных не жалуют. Они живут с неприятностями и умирают в забвении. Отец имел столько друзей и знакомых, что мог прожить две жизни, не истратив копейки. Севастополь отстраивался из руин. Всем нужны были доски, гвозди, черепица, оконное стекло. Миную отца, к гвоздям не доберёшься. И все его любили, все искали его дружбы и расположения. Вряд ли было что-то тайное, скрытое от посторонних глаз, в его отношениях с просителями. Всё, что он делал, он делал на виду у всего города. Мне кажется, произошло следующее.

Есть такое понятие «предел текучести». За его чертой материал перестает сопротивляться внешним обстоятельствам. Вот и отец потёк. Он перестал подчиняться правилам игры и

сделался опасен. Спустя много лет, разбирая бумаги, я наткнулся на пожелтевшую газету «Слава Севастополя». Вот заголовок фельетона: «Почём похмелье у гусара?» Из текста следует, что мой отец, сгорая в огне вчерашней пьянки, не нашёл ничего лучшего, как «толкнуть» машину дефицитных труб с вверенной ему стройки социализма. И всего-то за пол-литра «белой головки» ценою 25 рублей 20 копеек. Коммунист липовый, сокрушается автор.

В то время, о котором идёт речь в фельетоне, отец пил исключительно самтрестовский коньяк «КВВК» и закусывал шоколадными конфетами. Я как сейчас вижу бесчисленные коробки шоколадных конфет, ловлю ноздрями их горьковатый аромат. Эти коробки, иногда без одной, двух конфет, были разбросаны по всему дому. Даже в сортире, на полке для газет, валялись московские «Ассорти». Но вся штука в том, что в этом фельетоне на подтасованных фактах и лживых словах бесцеремонно разлеглась большая некрасивая правда.

Похмелье потянуло на пять лет заключения в исправительно-трудовой колонии. Но в итоге отцу дали три года условно и запретили занимать руководящие посты. Это был подарок судьбы. Правда, стоил он семь «кусков». И здесь я вынужден с благодарностью помянуть наше мздоимство и неистребимое взяточничество, которое пропитало общественные слои любимой Родины.

Опустел наш дом. Исчезли многочисленные друзья-товарищи отца. Мебель, ковры – всё было распродано по дешёвке, чтобы собрать деньги на взятку. Шаги в комнатах отзывались эхом.

Как-то в начале зимы отец опустился на скамеечку возле поддувала и закурил. Не успел сделать вторую затяжку, как обширный инфаркт разорвал его сердце.

В ту зиму я ходил хмурый. Мне нравилась роль скорбящего сына. Я еще не знал, что тоска и огромное незаполненное место, которое занимал когда-то отец, поместятся во мне надолго и будут болеть, как незаживающая рана.

Дед, а затем отец, повторяя дедовскую судьбу, оказались вознесёнными на вершины, которые им и не снились. Затем, получив пинка, они благополучно «ухнули» вниз, на самое дно, откуда их путь начинался. Возвратившись вниз, они оказались изгоями – выскочек не любят, успеха не прощают. Низ по сути дела и являлся их малой родиной. Здесь они могли состояться при другом раскладе и провести скромную, по-своему счастливую жизнь.

Когда началось моё восхождение, я уже знал о предстоящем падении. Рано или поздно я тоже шмякнусь костями о самое дно. Я знал это, но продолжал карабкаться. Мне предложили войти в партийную номенклатуру. Я поспешно согласился. Стало ясно – пятно отцовской судимости с меня снято.

Возможно, из-за таких «выдающихся» партийных руководителей, каким оказался я, Советский Союз провалился, как крыша над гнилыми стропилами.

Мне не удалось скопировать судьбу деда и отца, не удалось свалиться персонально. Я грохнулся вместе со страной.

Приезжаю в Севастополь, в город, где давно не был.

Кусты сирени буйно разрослись. В их зелёной глубине утопают могилы. Я останавливаюсь на перекрёстке, смотрю в боковые переулки старого кладбища. Пусто. Безлюдно. По могильным плитам скачут воробьи. На ветке туи раскачивается ворона. Кладбище – коммунальная квартира бывших жильцов родного города, примирившихся здесь, перед выходом в вечность. Вместо одиночества я чувствую тесноту, но не раздражающую, а умиротворённую, будто здешние мудрецы сообщают мне новость: жизнь не кончается после жизни.

Я с трудом нахожу отцовскую могилу. Но что это? Она прибрана. Железная пирамида памятника отликает свежим серебром, а тоненький шпиль над ней полыхает аквамаринном. В пластмассовой вазе свежие чернобривцы. Кто и почему ухаживает за могилой? Времена тимуровцев давно миновали, а монашеского патронажа – еще не наступили. Я сажусь на бетонный окаём. Открываю бутылку коньяка и выкладываю коробку «Ассорти». Глоток напитка обжигает гортань, но следом происходит открытие шлюзов, спокойная радость разливается широко, заполняя новые пределы.

В это время дрогнули кусты сирени, из них вышел человек с истрёпанным лицом и в кителе без погон. В нём легко угадывался кладбищенский бедолага, что кормится куском поминального пирога и рюмкой водки, оставленной покойнику.

– Здравия желаю. Поминаете? – человек стянул с головы парусиновую кепку, и копна волос, утративших цвет, упала ему на лицо. Он опустил на горячий цоколь, бережно принял полную рюмку, взглянул на памятник. – Не сучай, Александр Яковлевич, скоро увидимся, – подмигнул мне и выпил. – Не вижу вашей матушки. Как её здоровье?

О чём он спрашивает?

– Ты меня с кем-то путаешь, старина.

Он захлопал маленькими глазками:

– Виноват! Перепутал с вашим братиком. Вы похожи, как две капли воды. Сразу видать – с одного конвейера сошли. Мы недавно с Николаем, с брательником вашим, и с вашей матушкой Надеждой Андреевной поминали тут Александра Яковлевича. А сейчас гляжу и удивляюсь – месяц прошёл, а Николаша, вроде, старше стал. Годочков на десять.

– На восемь, – поправил я и почувствовал, что земля уплывает из-под ног.

Вот это неожиданность: у меня, оказывается, есть младший брат. Сын моего отца. Жива и здорова сводная мать, женщина, с которой мы изнывали от жары в старом дворе, на железной кровати с никелированными шариками, пятьдесят лет назад. И я млел от любви к ней. Да, это была моя Джейн – Надя Максимова.

Первая женщина, которую я предал в этой жизни.